

Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход (вероятно, английский, подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не выдавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.

Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!

Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать...

принужденно-чинным молодым голоском заговорила девушка.

Конца Василий Петрович не слышал, потому что гурьба прошла мимо.

Через полминуты из темноты вновь слышался взрыв смеха.

Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать, подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. Да, придется работать на этом скромном поприще, думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю. Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороку, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать искру божью в мальчиках; как будет поддерживать натуры, стремящиеся сбросить с себя иго тьмы; как под его надзором будут развиваться молодые,

свежие силы, чуждые житейской грязи; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них профессор такого-то университета, известный у нас и в Европе, другой писатель, знаменитый романист, третий общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович, говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, подумал он. Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти... Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адреса. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адреса ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. О, моя Лиза! проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.

Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с навернутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамьи, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

Позвольте закурить.

Сделайте одолжение, ответил Василий Петрович.

Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

Николай, друг мой! Ты ли это?

Василий Петрович?

Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его. Какими судьбами?

Очень просто, на службе. А ты как?

Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.

Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

Поедем, поедем, согласился Василий Петрович. Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! закричал он. Не нужно, не кричи. Сергей, давай! громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

Кудряшов, эти лошади твои?

Мои, мои! Что, не ожидал?

Удивительно... Ты ли это?

Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатила, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. Что за притча! думал он. Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь коляска! Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонт на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого

дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.

Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. Неужели собственная?

Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

Полторы! протянул Василий Петрович.

Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

Дрянь! воскликнул в изумлении Василий Петрович.

Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином.

Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая под дуб с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разной бронзовой и фарфоровой мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, сказал он.

Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

О чем это?

Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь...

Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет и у тебя такое место.

Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

Как же это? Да ты сколько получаешь?

Каких? Жалованья?

Ну да, содержания.

Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов 2-й, тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

Как же это? Откуда это все?

Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

Вижу, ответил Василий Петрович, что же дальше?

Знаешь ли, что это?

Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

Что это такое? Чертежи?

Чертежи-то чертежи, но чего?

Право, друг мой, не знаю.

Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол.

Знаешь, что такое мол?

Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил. Мудрено и заметить, сказал Кудряшов со смехом. Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

Где же это?

Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта?

Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: нечестные средства? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдаётся мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это оставь; прежде всего это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: какая я, однако, телятина; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а? Тебе все равно.

Ну, например?

Ну тысячи три заработаю с частными уроками.

Вот видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам! А я сижу себе да посматриваю: хочу делаю, хочу нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они вещь для нас пустая.

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой. Банки с консервами пестрели разноцветными

английскими надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. Ведь этот кусок краденый, думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. А сам что я делаю, как не подлость? Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: Ну, так что ж? И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. Ну что ж, буду наблюдать, мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам перед собой сконфузился. Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?

Этакого мяса, начал Кудряшов, ты обрати внимание, не достанешь в целом городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

Ты попал как раз кстати, сказал он в заключение рассказа о мясе. Едал ли ты что-нибудь подобное?

Действительно, ростбиф отличный, ответил Василий Петрович.

Превосходный, братец. Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе налью вина.

Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблех, и таможня. Рассказывая о вине, Кудряшов попивал его и, по мере того как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее.

Да что ж ты молчишь? наконец спросил он Василия Петровича, который действительно упорно молчал, выслушивая эпопеи о мясе, вине, сыре и прочих благодатях, украшавших собою стол инженера.

Так, брат, не говорится что-то.

Не говорится... вот вздор! Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал; с большим бы удовольствием поужинали, если б не этот проклятый мол... Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович, брось... А? Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты

удержишься на своей стезе.

Пожалуйста, не делай обо мне предположений, сказал Василий Петрович. Обиделся?.. Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что не согласны? Ведь правда, а? Выпей вина, хорошее вино.

Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил.

Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит? Доподлинно знаю. Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар? Постой, постой, дай договорить! Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Вовсе нет; если бы ты и очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и, подогнанный под них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждения убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что я не способен никого обидеть...

Постой, Кудряшов. Откуда у тебя все это? Василий Петрович обвел рукой. Сам говоришь, чужое: ну, тот и обижен, у кого похищено.

Легко сказать: у кого похищено. Я вот думаю, думаю, кого я обидел, и все не могу понять кого. Ты не знаешь, как это дело делается; я расскажу тебе, и ты, может быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко.

Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке. Иван Павлыч, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное: право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.

Иван Павлыч бережно принес огромный лист, наклеенный на коленкор.

Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганной красным вином скатерти.

Посмотри сюда, сказал он, Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя; поэтому мы готовим для мола прежде всего постель.

Постель? спросил Василий Петрович. Странное название.

Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического

фута объемом. Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. Смотри, Василий Петрович, это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смеряешь приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень... Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуетя тебе, чувствуешь могущество человека... Видишь, вот они, эти кубики. Он показал циркулем. Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело; оно не уступит любой египетской пирамиде. Вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет, а сколько времени еще протянется бог знает. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочем, если она будет идти так, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.

Ну, что ж дальше? спросил Василий Петрович после долгого молчания. Дальше? Ну, а мы сидим на своих местах и получаем, сколько следует. Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получать.

Молод ты, вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники; только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем: тебе известно, что во всяком море бывают бури? Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую.

Все ж я не вижу возможности...

Кладем мы ее, спокойно продолжал Кудряшов, на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает.

Василий Петрович весь превратился в недоумение.

Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают; а у нас на двух с лишним саженях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела

делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос: сколько в этом году размыло постели? Берем чертежи и отмечаем. Ну, и пишем, куда следует: размыло, доскаты, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: стройте, чините, черт с вами! Ну, мы и чиним.

Да что ж вы чините-то?

Да карманы себе чиним, сострил Кудряшов и сам рассмеялся своей остроте. Нет, это невозможно! невозможно! закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате. Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что вас всех поймают на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Боже, боже, вот они надежды, упования! Способный и честный юноша и вдруг...

Василий Петрович вошел в экстаз и говорил долго и горячо. Но Кудряшов совершенно спокойно курил сигару и посматривал на расходившегося друга. Да, ты, наверно, пойдешь по Владимирке! закончил Василий Петрович свою филиппику.

До Владимирки, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Разве я один... как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг, самый воздух и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли... И всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто ж решится меня тронуть, когда через это сам может пошатнуться?

Стало быть, как сказал Крылов, рыльце-то у всех в пушку?

В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что могут, а не относятся к ней платонически... О чем бишь мы начали говорить? Да о том, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братию, что ли? Ну, чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уж взято, и если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере я не по-свински живу, есть кое-какие и духовные интересы: выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации, а к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами? А их нужно откуда-нибудь взять. Так называемыми честными путями...

Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константиныч!

Слова? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться? Ворую, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруюешь.

Послушай, Кудряшов...

Нечего мне тебя слушать, сказал со смехом Кудряшов. Ты таки, брат, грабитель под личиною добродетели. Ну, что это за занятие твое учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазней. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня? А тоже храбрится, честность проповедует!

Кудряшов! Поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор.

А мне нисколько.

Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил.

Немудрено; люди изменяются, и я изменился, а в какую сторону ты угадать не мог: не пророк ведь.

Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша сделается честным гражданином.

Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин! И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать: не мальчик ведь... Знаешь что, Вася, при этом Кудряшов взял Василия Петровича за руку, будь другом, бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. Иван Павлыч! Дай, брат, бутылочку вот этого. Иван Павлыч немедленно явился с новой бутылкой. Кудряшов налил стаканы. Ну, выпьем за процветание... чего бы это? Ну, все равно: за наше с тобой процветание.

Пью, сказал Василий Петрович с чувством, за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание.

Будь друг, не поминай... Ведь если опомниться, так уж пить будет нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будем пить просто, без всяких пожеланий. Бросим эту скучную канитель; все равно ни до чего не договоримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспаривать: собственным умом до моей философии дойдешь.

Никогда! с жаром воскликнул Василий Петрович, стукнув стаканом об стол.

Ну, это посмотрим. Да что это все я про себя рассказываю, а ты о себе молчишь? Что ты делал, что думаешь делать?

Я говорил уже тебе, что назначен учителем.

Это твое первое место?

Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

И теперь думаешь заниматься ими?

Если найду, отчего же.

Доставим, брат, доставим! Кудряшов хлопнул Василия Петровича по плечу. Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Почему ты брал за час в Петербурге?

Мало. Очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль-два, не больше. И за такие гроши человек терзается! Ну, здесь меньше пяти и не смей запрашивать. Это работа трудная: я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывало, добудешь по полтиннику за час и рад. Самая неблагодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими; тут есть премилые семейства, и с барышнями. Будешь умно себя вести сосватаю, если хочешь. А, Василий Петрович?

Нет, благодарю, я не нуждаюсь.

Сосватан уже? Правда?

Василий Петрович выразил своим видом смущение.

По глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю. Вот как скоро! Ай да Вася! Иван Павлыч! закричал Кудряшов.

Иван Павлыч с заспанным и сердитым лицом появился в дверях.

Дай шампанского!

Шампанского нету, все вышло, мрачно отвечал лакей.

Будет, Кудряшов, зачем же это, право!

Молчи; я тебя не спрашиваю. Обидеть меня хочешь, что ли? Иван Павлыч, без шампанского не приходить, слышишь? Ступай!

Да ведь заперто, Николай Константиныч.

Не разговаривай. Деньги у тебя есть: ступай и принеси.

Лакей ушел, ворча что-то себе под нос.

Вот скотина, еще разговаривает! А ты еще: не нужно. Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское?.. Ну, кто такая?

Кто?

Ну, она, невеста... Бедна, богата, хороша?

Ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе? Состояния у нее нет, а красота вещь условная. По-моему, красива.

Карточка есть? спросил Кудряшов. Поди, при сердце носишь. Покажи!

И он протянул руку.

Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная, зачем, он расстегнул сюртук, вынул свою книжечку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать.

Ничего, брат! Ты знаешь, где раки зимуют.

Нельзя ли без таких выражений! резко сказал Василий Петрович. Дай ее мне, я спрячу.

Погоди, дай насладиться. Ну, дай вам бог совет да любовь. На, возьми, положи

опять на сердце. Ах ты, чудака, чудака! воскликнул Кудряшов и расхохотался. Не понимаю, что ты нашел тут смешного?

А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет; сам в халате, подурневшая беременная жена, семь человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапочек и всего прочего. Вообще, проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ха-ха-ха!

Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их: есть, пить да спать?

Не есть, пить и спать, а жить. Жить с сознанием своей свободы и некоторого даже могущества.

Могущества! Какое у тебя могущество?

Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить и куплю.

Кудряшов!..

Не хорохорься попусту. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. Ах я, дурень, дурень! вдруг вскрикнул Кудряшов, хлопнув себя по лбу. Сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Ты говоришь: есть, пить и спать? Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем. Возьми свечу.

Куда это? спросил Василий Петрович.

За мной. Увидишь куда.

Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ковер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. Шаги глухо стучали по каменному полу. Шум падающей где-то струи воды звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литого стекла; целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала.

Что это такое? спросил Василий Петрович.

Аквариум, которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его.

Кудряшов скрылся за дверью, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и

маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них; Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы.

Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал акварию. Кудряшов в двух местах зажег электрические фонари: свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишашую рыбами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне своими кроваво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность акварию. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом: целая стая маленьких большеголовых бычков носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде; стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду; черный гладкий угорь зарывался в песок акварию и поднимал целое облако мути; смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала акварию толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся.

Каково, Василий Петрович? спросил Кудряшов, выйдя к нему.

Чудесно, брат, удивительно! Как это ты все устроил! Сколько вкуса, эффекта! Прибавь еще: и знания. Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо и, не хвастая, скажу, что мой хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности нисколько... Это моя гордость и утешение. Как скучно станет придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенная, не так, как наш брат человек. Жрет друг друга и не конфузится. Вон смотри, смотри: видишь, нагоняет.

Маленькая рыбка порывисто металась вверх, и вниз, и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол.

Перехватили! сказал Кудряшов. Дура, осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы: сегодня напустишь целую тучу, а на другой день все уже съедено. Съедят и не помышляют о безнравственности, а мы? Я

только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович! Неужели ты наконец не согласишься, что это ерунда?

Что такое? спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды.

Да вот эти угрызения. На что они? Угрызайся не угрызайся а если попадется кусок... Ну, я и упразднил их, угрызения эти, и стараюсь подражать этой скотине.

Он показал пальцем на аквариум.

Вольному воля, сказал со вздохом Василий Петрович. Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные?

Морские. И вода ведь у меня морская. Нарочно водопровод устроил.

Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег.

Не маленьких. Аквариум мой стоит около тридцати тысяч.

Тридцать тысяч! воскликнул в ужасе Василий Петрович. При тысяче шестистах рублях жалованья!

Да брось ты это ужасанье! Если насмотрелся пойдем. Должно быть, Иван Павлыч принес требуемое... Подожди только, я разомкну ток.

Аквариум вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым, коптящим огоньком.

Когда они вышли в столовую, Иван Павлыч держал уже наготове завернутую в салфетку бутылку.